

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ (К ПОЛУВЕКОВОЙ ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ)

Аполлон Григорьев один из самых необыкновенных русских писателей и русских людей – и один из самых неизвестных. Все еще неизвестных, хотя столько раз на него пытались обратить внимание. Так глубоко вкоренилась в нас мелочная привычка ценить писателя, взвешивая количество «полезных мыслей», высказанных им, а не вникая в само его человеческое существо. Количество полезных мыслей у Ап. Григорьева окажется тоже немалым, если увидеть его душу – слишком порывистую, чтобы быть элементарной. Григорьев был писатель большой силы, но прежде всего он был большой и особенный человек; и это-то, конечно, и создало большого писателя.

Об его мятежной душе сейчас можно только напомнить, потому что знать ее можно будет лишь с той минуты, когда его сочинения (критика, стихи, автобиография) будут изданы; а они не изданы до сих пор: через полвека после его смерти можно в старых библиотеках или у букинистов отыскать «первый» том начатого и не продолженного собрания сочинений, еще в 70-х годах... Здесь судьба, а не случай. Закон невнимания к человеческой душе – при условии внимания ко всяческой литературной суете и мелочам. И пока не будем смотреть в писательские души, мы не будем знать нашей литературы; и этому нас никто не выучит, - потому что некому. И только отсюда начнется наша собственная история литературы – подлинная, в образец другим, так как повсюду изучают не сердца, а идеи.

Поэт назвал душу Григорьева – огневой:
Его душа вся огневая...
(Случевский)

Но чью душу не называли огневой или огненной, попросту страстной?.. Чем была страстна, чем пламенела? Страстью к правде и к нации, к России. К России – как к народу великой правды, «богоносному». Шатов Достоевского похож на Григорьева, словно с него писан, и не только Шатов. Григорьевская страстность, стремительная и грубая, всегда – на границах идеализма самого потустороннего и той разнузданности, которая не может кончиться ничем иным, как алкоголизмом или чем-нибудь подобным, и надо всем самый исступлений национализм, основа которого – жалость к людям и ощущение тайны, - все это, можно было сказать – прямо из Достоевского, если бы Григорьев не предшествовал ему в его откровениях и, кажется, обусловил их.

Тот век, который только недавно ушел в прошлое – век девятнадцатый – начался для нас Пушкиным и закончился Достоевским. А соединительной нитью между ними был Григорьев. Он первый со страстью назвал Пушкина поэтом не только исключительной красоты, как это сделал Белинский, но и исключительной правды. И он же на творческие сомнения Достоевского, после первого взрыва его самостоятельной стихии – в «Записках из подполья» ответил, что с этих сомнительных для тогдашних читателей «Записок» и

открывается его настоящий путь. Друг Достоевского, когда Достоевский стоял еще на распутье между прежними «Бедными людьми» и будущими «Бесами» и «Карамазовыми» - Григорьев в своей критике уже загадывал то, что потом было достигнуто или достигаемо в образах Достоевского.

Критика Григорьева, едва она стала известна читателям – с начала 50-х годов – стала подвергаться издевательствам. Григорьев был фанатик, но не был гений. Фанатизм, когда в нем нет гениальности, может сойти за юродивость и вызвать смех. И над Григорьевым посмеялись вдоволь. Ведь над Достоевским не смеялись, а бросали книгу как «тяжелую» и неудобоваримую – только потому, что давила гениальность. Да разве и Достоевским почтительно не пренебрегали?

Над чем же смеялись читатели и критики Григорьева?

Два типа борются в человеческом существе за свое бытие, – думал Григорьев. Тип хищный и тип кроткий. Или – языческий и христианский, как говорил современный нам критик. Но позднейшее русское сознание увидело в оргиазме разрешение их двойственности. Григорьев мыслил по старозаветному. Языческое и оргиастическое – тождественны, а христианское – их противоположность. Хищное и кроткое.

Хищное начало – это крайнее утверждение личности; кроткое это начало самоотречения. Цель – кротость. В кротости – правда. Между тем Западная Европа не приняла идеала кротости, она идеализировала тип хищный, доведя его в байронизме до конца. Русская литература показала в пушкинской поэзии идеал преодоления хищности в кротость. Пушкин соблазнялся и не соблазнился. Его истомили образы Алеко, Онегина, Годунова, но он преодолел их в восхищении перед Белкиными, Гриневыми, Мироновыми. В этом идея Пушкина, в этом идея русской нации.

Так-то объяснен был и Гоголь, как правдолюбец; Лермонтов – как заблудившийся; Островский, Писемский, Тургенев, Л. Толстой, как нашедшие. Григорьеву не суждено было прочесть ни «Преступления и наказания», ни всего, что последовало за этим романом. Он приветствовал только «Подполье».

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский, Писемский, Тургенев – каждый из них был для Григорьева частью его собственной жизни, потому что литература была в его понимании вообще оценкой жизни. Он говорил: «Художник мерит жизнь мерой своего идеала...» Он думал сам про себя, что он любил превыше всего искусство, но он превыше всего любил жизнь, человеческое бытие, жизнь русских людей.

«Пушкин – наше все», - потому что в Пушкине сказалась верная мера русской жизни. Лермонтов – гениальное недоразумение, потому что в нем сказалась ложная мера. Островский – величайший писатель из новых, потому что в нем также сказалась верная мера. Он ненавидел тип хищный, он открывал в русском быту типы кроткие, национальные. Велико ли дарование Островского?.. Григорьев порывисто этого не замечал. Ему казалось, что – огромное, раз оно шло к правде. Так получилось знаменитое по своим смешным преувеличениям превознесение даровитого жанриста до Шекспира.

Но Григорьев был все-таки в своем простодушии мудрее своих противников, сам того не зная. Превознося в Островском и отчасти Писемском то, что в них сказалось скромно и неуверенно, он предчувствовал, он вызывал образы и Толстого, и Достоевского, но преимущественно Достоевского. Будущий кроткий Раскольников в борьбе с хищным Раскольниковым-убийцей. Кроткий князь Мышкин. Хищный Ставрогин и хищные «бесы». Хищное гнездо Карамазовых, из которого вылетел кроткий Алеша. Утверждение личности – до демонизма, до разгула, до преступления – и мечта о самоотречении, как цель, как человеческое назначение. И та же вера, что это русское значение. Что в этой борьбе, неизбежной – везде, где бьется живая душа за дело Божье, – назначен путь трагический и религиозный с тем вместе. Русский народ – самый трагический, самый способный к жертве и, стало быть, самый религиозный. Это то, что Григорьев, первый увлекшийся «идейностью» Пушкина в национальном ее определении, – предчувствовал в Достоевском, связывая начало и конец века. Читатели думали, что Григорьев проповедует «обывательщину», потому что не смотрели в его собственную душу, не идиллическую, а трагическую, и осмеивали ее пафос, вызывавший пафос Достоевского. Потом Достоевский заслонил Григорьева, – и мы его предтечу почти вынули из литературы. Но без критических предчувствий Григорьева Пушкин и Достоевский не связаны друг с другом. Я же взял, говоря о Достоевском, два крайние конца; но можно было бы показать, как Григорьев предчувствовал и Толстого.

Григорьев предвещал трагическую русскую литературу, почувствовал русский народ как трагический, переживая борьбу двух предвечных начал в самом себе, уже готовый признать, что примирение найдено («Пушкин – наше все»... «Островский – гений»... «Писемский – почти гений»...) – и опять осужденный на «скитальчество» (заглавие его автобиографии). Он не был учитель, не был пророк, он был только предвестник трагического смысла, какой суждено было выразить русской литературе; но отнюдь – не идиллического. И вот почему Аксаковы, и Хомяковы, и Киреевские при всем их национализме ничего не предвозвестили для русской литературы, так как они были безнадежно идилличны: а Григорьев, казалось бы – связанный их славянофильской верой, предвещал, потому что он разгадал в Пушкине трагика и вызывал, сам того не осознавая, верный лишь своему мятежному существу, – трагические тени Толстого и Достоевского. И они пришли – и очаровали, и победили, и оповестили нам и нас определили. И сейчас, сегодня, в эти дни – нельзя удержаться, чтобы не говорить о русском народе как о трагическом, стоящем между «хищным» и «кротким» – во имя последнего разрешения их и в самом себе и во всем мире.